

Чеслав Милош

Несколько русских страниц «Алфавита Милоша»

Окончание. Начало в "PM" №4180.

То, что происходило на кладбище, сразу перенесло меня на восток Европы. Они сидели за столами, застеленными белой скатертью, на столах — фрукты и жбаны кваса, у женщин платки на головах. Пели. Говорили по-русски, но с примесью украинизмов. Я узнал, что они не принадлежат к самой радикальной группе и детей в государственные школы посылают. Казалось, мужчины, тихие, мягкие, некурящие и непьющие, подчинялись власти женщин, т.е. было похоже на своего рода матриархат.

Словно в подтверждение этого, явилась Маркова. Ну и баба-яга, скрюченная, опирающаяся на палку, в платке. Она произносила речь, из которой вовсе не следовало, что она обычная бабушка. Звучал советский газетный жаргон о так называемой борьбе за мир. Она приехала из Советского Союза, от тамошних духовоборов, а это значило, что соответствующий отдел КГБ, контролирующий вероисповедания, признал нужным простереть духовную опеку над сектой, гуляющей себе за границей на опасной свободе, и выслал своего сотрудника.

Я вмиг сориентировался, но и Маркова тоже: ее "антенны" сразу ее предостерегли, что тут есть кто-то, кто мыслит иначе, чем послушное стадо. Советский человек не допускает возможности, что что-то может произойти случайно, что чистая случайность завела меня сюда. По ее mine и по нескольким словам, которыми я с нею общался, я понял, что она считает меня таким же, как она, тайным агентом, только канадской полиции.

Мы сидели за этими белыми скатертями и пили квас. Вдруг — замешательство у ворот и крики. Что происходит? Оказывается, что, как это обычно у сектантов, нет внутреннего согласия и что другой раскол духовоборов, придерживающийся совершенно других взглядов, требует доступа на кладбище. Наступили долгие переговоры, наконец Маркова на определенных условиях согласилась впустить их делегатов.

Не думал я, что когда-нибудь мне доведется быть свидетелем публичного богословского диспута, такого, как в XVI или XVII веке. Тот, кто обвинял моих духовоборов в самой ужасной ереси, читал с длинного свитка свой трактат по-русски **стихами**. Он перечислял по очереди все отступничества, т.е. поэма могла бы дать представление об истории духовоборов, если бы не рассказывала о событиях, кото-

рые мне, человеку извне, оставались невразумительными. Но что стихами, хоть и корявыми, и вкус XVII века, может быть, даже аввакумовских староверов, — это я чувствовал вполне ясно!

Когда в один из своих приездов в Мезон-Лаффит я рассказал за столом мое приключение с духовоборами Зыгмунту Герцу, он пришел в восторг и все приставал ко мне, чтобы я это когда-нибудь описал.

Надя, Ходасевич-Грабовская. Когда в 1934 г. я поселился в пансионе госпожи Вальморен на рю Валетт около Пантеона, то застал там Надю Ходасевич, после кратковременного брака с польским художником Грабовским носившей и вторую фамилию. Надя, голубоглазая, скуластая, была родом из семьи русских эмигрантов, после революции поселившихся в Польше. Училась она в варшавской Академии художеств.

Парижский пансионат так часто встречается во французской литературе, что о нем стоит сказать несколько слов. Предназначенный для людей с малыми доходами, студентов и мелких чиновников, он источал ауру бедности и скопидомства. Жильцы получали комнату и ужин, за который садились в столовой все вместе, чтобы медленно двигаться, проходя через три ритуальных блюда, старательно, однако, отмеренных миниатюрными порциями. Часто мы ели soupe de lentilles, т.е. чечевичный суп. Хозяйка, мадам Вальморен, была мулаткой с Мартиники. Моими соседями были несколько студентов, несколько почтовых чиновников, Надя и пан Антоний Потоцкий.

Потоцкий — не из той аристократической семьи, — когда-то известный критик, написал в свое время историю литературы Молодой Польши, книжку довольно странную и уже между войнами забытую. Он застрял в Париже как журналист, состарился здесь, был одинок и зарабатывал какими-то временными заказами от польского посольства. Нелюбимый, с пышными седыми усами, он был предметом опеки Нади, которая совершенно бескорыстно проявляла доброту к старому холостяку. Хотя очень хорошо говоря по-польски, она после развода с Грабовским уже ничего общего с Польшей не имела, зато часто говорила о своих братьях, оставшихся в России, показывая их письма и выражая свой энтузиазм по отношению к государству социализма.

Как художница она ориентировалась на великий и великолепный для нее образец современности — не на Пикассо или Брака, а на Фернана Леже, на картинах которого трубы, котлы и механизированные пролетарские фигуры, видимо, отвечали ее представлению о коммунизме. Ее друг, молодой французский художник, с которым они часто вместе работали и который иногда оставался на ужин, был под полным ее влиянием и писал картины так же.

Я думал о Наде как о сильной личности, но не ожидал продолжения ее биографии. Она познакомилась со своим кумиром, Фернаном Леже, завоевала его, вышла за него замуж и стала хранительницей его музея в Провансе и наследницей его фортуны.

Русский, язык. Я родился в Российской империи, т.е. там, где детям в школе запрещали говорить на другом языке, кроме русского. Даже уроки римско-католического Закона Божия в гимназии должны были вестись по-русски, хотя, как расска-

зывал мой отец, в Вильне законоучитель обходил запрет и велел им выучить по-русски какую-нибудь библейскую историю на случай инспекции. Тогда вызванный ученик вставал и читал наизусть всегда одно и то же: *"Авраам сидел в своей палатке..."*

От принадлежности к России нелегко отделаться. Законодательство Советского Союза считало своими гражданами всех, родившихся в границах царской России. Возможно, в этой формальной основе не было нужды, раз те, что прибыли с Красной армией в 1944 г., чтобы править, и так были советскими гражданами.

Русский язык в детстве проникал в меня путем осмоса, во время странствий моего отца по России в первую войну, а затем в Вильне, где к нашей детской компании во дворе дома 5 по Подгурной принадлежали Яшка и Сонька, говорившие по-русски. Думаю, что русификация в Вильне и окрестностях достигла, особенно после 1863 г., больших успехов.

Формально я никогда не учил этого языка, но он сидел во мне довольно глубоко. Рискнул бы сказать, что у людей, происходивших, например, из Галиции, ухо было устроено чуточку по-другому, т.е. они чуточку иначе слышали свой польский, что могло проявляться и в поэзии. У Лесьмяна, родившегося в Варшаве и учившегося в Киеве, я угадываю как бы эхо русских ямбов — кстати, он и начинал со стихов по-русски. Сам я испытывал очень сильное влечение к русской напевности в стихах. Пушкин, например, так навязывает силу и плотность своих строк, что они остаются в памяти как бы отчеканенными навсегда. Однако я довольно рано осознал, что это другой регистр, нежели регистр польской поэзии, и что подражать русским поэтам было бы опасно. Фактом остается, что я ничего не переводил с русского. Даже дружба с Иосифом Бродским, который перевел некоторое число моих стихов, не могла этого изменить. Существует лишь одно его стихотворение в моем переводе, зато я много писал о его поэзии и по-польски, и по-английски.

Дискуссия о различных законах двух языков велась между двумя войнами по случаю тувимовского перевода "Евгения Онегина". На опыт Юлиана Тувима напал Адам Важи́к, автор конкурирующего перевода. Как известно, польский — язык со слабым постоянным ударением на предпоследнем слоге, в русском же ударение подвижное, с предпочтением к ямбическим стопам. Чтобы передать пушкинские ямбы, следует по-польски рифмовать односложные слова, с чем Тувим справился, но результат был несколько монотонным. Важи́к в значительной мере отказался от передачи мужских рифм, и его перевод легче дышит, он больше согласуется с духом польского языка. Несходство обоих языков заметно, например, в суждениях русских о польской поэзии. Чаще всего им нравится то, что сильно модулировано ритмом и рифмой, т.е. то, что напоминает им их собственную поэзию.

Польский язык избавляется от корсета метрического стиха и рифм без большого ущерба. Как будет с этим в русском языке, неизвестно. Иосиф Бродский так и оставался метрическим поэтом.

Перевела с польского Н.Горбаневская.

Перевод сделан по изданию: Чеслав Милош. Алфавит Милоша. Краков, "Выдавництво литературе", 1997 (на польск. яз.).

Благодарим издательство и автора за любезное разрешение на публикацию.

Русская тиснь - Париж - 1997 - 3-94009 - с. 10-11